

ВИРТУАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ ПАМЯТИ

Алексей Дронов¹

Малышкин Евгений, *Две метафоры памяти*.
Санкт-Петербург: Изд. дом С.-Петербур. госуд. ун-та, 2011

Книга предстаёт серией разборов, обращённых к текстам, в которых мышление памяти нашло теоретическое и метафорическое оформление. Но попросту признать, что предлагаемое автором философское исследование действительно посвящено памяти и её метафорам (по меньшей мере двум), будет правдой, мало что говорящей об этой книге. Следует начать с уточнения предмета исследования и авторского понимания задач, стоящих перед ним. В первой главе книги мы встречаем ряд отрицаний, служащих определению авторского замысла: «Всё, чего мы стремились достичь в этом исследовании, это, не впадая в мистические состояния, а это значит: придерживаясь текстов, которые *уже* говорят что-то значительное и самодовлеющее, раз от разу не отводить взгляда от пропасти памяти» (с. 19.). При этом сам объект взгляда – память – предварительно задаётся опять же негативно, страницей ранее, когда автор представляет своё исследование как «набор экскурсов» или «многократно осуществлённую попытку думать о памяти не как о человеческом свойстве или способности» (с. 18.)

Ключевой является и ещё одна принимаемая автором оппозиция: различие естественной и «искусной» памяти. В книге речь идёт лишь о второй, искусной. Сама эта дистинкция видится методологически ценной, задающей пространство предлагаемого исследования. Ведь различие между естественной и искусной памятью само не является естественным (что автором хорошо демонстрируется) и обретает свою «природу» в тех или иных формах попечения о памяти, т. е. в её теории, технике или искусстве. И в чём бы ни состояло «естество» памяти как психологической способности, мы вправе подозревать память во включённости в ряд других «вещей», т. е. в тех или иных формах теоретической или чисто технической заботы о ней.

И здесь следует обратить внимание на ещё одно понятие, участвующее в оформлении самого предмета исследования (искусной памяти), – понятие машины, восходящее к контексту работ Делёза и Гваттари. Понятие машины выступает средним термином между *природой* памяти и *искусством*

¹ Алексей Дронов – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Саратовской государственной юридической академии (Саратов, Российская Федерация).

помнить: безличность и автоматизм машин хорошо дополняются их искусственностью и задуманностью. Введение представления о машинах памяти (имеющих известное родство и с мнемоническими техниками, с одной стороны, и с оперативной памятью, с другой) делает возможным исследование, непосредственное представлением о субъекте и картографией его способностей. В разбираемых автором контекстах это позволяет иногда указывать на «субъекта» как продукт работы машин памяти, в то же время сохраняя за субъектом в другом его значении возможность их сборки и обслуживания.

Итак, предпринятое автором исследование представляет собой рассмотрение традиционных для европейской культуры способов и форм обхождения с памятью, предположительно определяющих работу и сегодняшних её устройств. Серия рассматриваемых в книге теоретических пространств включает в себя, помимо древнегреческой трагедии, тексты Платона, Аристотеля, Августина, Гоббса, Декарта и Лейбница. Однако сама эта последовательность («набор экскурсов») едва ли претендует быть *историческим* рассмотрением в строгом смысле, поскольку задаваемая серия не детерминирована какой-либо фундаментальной логикой истории памяти или, скажем, её «судьбой». Во всяком случае, несмотря на обилие взаимных отсылок между контекстами, автор нигде не настаивает на неслучайности самого этого ряда. При этом основным тезисом всей книги остаётся тот, что в любом из своих локальных оформлений мышление памяти (по меньшей мере, в западной культуре) оказывается обусловленным двумя базовыми метафорами – *хранилища* и *проекта*, «которые, подобно бэконовским идолам, всегда предрекают наши способы высказывания о памятуемом и припомненном» (с. 21.). Задаче демонстрации этой обусловленности, господства той или другой метафоры (а то и обеих сразу) в разбираемых текстах традиции и должны служить предлагаемые экскурсы.

Предпринимаемые автором разборы отнюдь не выглядят сконструированными какой-либо предварительной схемой или гипотезой, которая предварительно задавала бы характер раскрываемого. Удивительной особенностью этой книги является то, что исследование само подчинено логике мышления-припоминания, то есть имеет память не только своим предметом, но и средством, оно гостеприимно к самой её стихии. Отсюда и известная произвольность серии, дискретность повествования: ведь если авторской задачей является всматриваться в «пропасть памяти» памятливым, а не беспамятным («впадающим в мистические состояния») взором, то в каждом из экскурсов воспоминание о ней должно осуществиться заново, целиком, и притом из той метафорики, которую разбираемый текст сам принимает в расчёт (ведь тексты «говорят нечто самодовлеющее»).

В каждом из случаев память оказывается не одним из случайных компонентов некоторой теоретической конструкции, а её центром

или, во всяком случае, фокусом, из которого вся конструкция способна раскрывать своё целое. У Платона, Аристотеля, Августина, Гоббса, Декарта, Лейбница память выступает стихией, средством или инструментом, обуславливающими усмотрение идеи, вывод силлогизма, теофанию, пролонгацию страха и устроение политического тела, акт *cogito*, удержание соревнующихся виртуальностей и исчисление наилучшего из миров. И это неполный перечень распадающихся контекстов, в которых память множит случаи своей устойчивой и двуединой интерпретации в качестве следа/хранилища.

Правда, остаётся не очень понятным, насколько притязательным является основной тезис автора книги об универсальном характере двух метафор. Идёт ли речь о метафоре как о *несобственном* памяти, её ложном образе и привносимом ею насилии – насилии формы, внешней к её скрытой в этом забвении «сущности»? Иначе говоря, выступает ли сама метафора памяти формой её забвения? Или устойчивость двух метафор и создаёт исторически *собственную* (для западной культуры и её техники) форму памяти? Эти альтернативы задают разные перспективы прочтения книги, а неопределённость выбора между ними не устраняется демонстративностью самих «экскурсов», которые по справедливости нужно назвать обходительными со своими источниками, изящными и умными, однако демонстрирующими лишь взаимную согласованность разноголосых метафор, но не природу этой согласованности. Вероятно, отказ автора от любого варианта сильной интерпретации своего тезиса также можно назвать изящным и умным, равно как и желание при поспешном прочтении вывести этот отказ из той же обходительности с текстами и стремления избежать «метафизики», дополнительной к новоевропейской. Однако вне этой притязательности, то есть в своём ослабленном звучании, книга лишается скрепляющего её тезиса и предстаёт лишь набором историко-философских и культурологических рассмотрений, в пользу которых говорят лишь их изящество и обстоятельность. В своей сильной версии этот текст о «безднах памяти», вероятно, более глубок, в слабой – более очарователен (своей близостью «к вещам», *не* о которых речь): в обеих редакциях книга, безусловно, наделена добродетелями. Последняя, лейбницеведческая, часть книги посвящена понятию виртуального и попыткам переоткрыть виртуальность, как её понимали в XVII веке, в структурах современности. Что ж, пожалуй, есть таковые. По крайней мере одна: общность замысла книги виртуальна, а читатель оказывается в роли лейбницевого Бога, отыскивающего единство наилучшего на разбегающихся троп(к)ах возможного.